

## *Глава I*

### **САМЫЙ ИСТОРИЧНЫЙ ВЕК: ДИАЛОГ ИСТОРИИ И АНТРОПОЛОГИИ**

Данный очерк содержит двойной ракурс при взгляде на проживаемое столетие и на канун двух тысячелетий. Это вызвано двойной профессиональной лояльностью автора двум академическим дисциплинам — истории и антропологии. Эти две дисциплины находятся в тесном и сложном диалоге. История — отрасль гуманитарного знания, которая описывает и объясняет свершившиеся события, исходя из понимания, что история никогда себя не повторяет. Цеховой основой этой дисциплины является изучение исторических, прежде всего архивных, документов и, отчасти, артефактов. Антропология — это наука о человеке и о создаваемых им культурных формах и социальных коалициях как в аспекте исторической (в том числе биологической) эволюции, так и в аспекте современной жизни. Именно поэтому цеховой основой антропологии (прежде всего социальной и культурной антропологии, или этнологии) является этнографический метод, или метод включенного наблюдения, фиксирующий непосредственную жизнь общины, группы или страны в целях кросс-культурных сравнений и для более общего понимания человеческого общества.

Новейшие исторические подходы не обходятся без антропологического анализа и даже имеется научное направление, которое так и называется исторической антропологией. В свою очередь, сама антропология пронизана историзмом настолько, что в российской обществоведческой традиции эта наука вообще считается одной из исторических поддисциплин (этнография, этнология), а в мировом общественном знании, наоборот, такие дисциплины, как археология и историческая лингвистика входят в состав социальной и культурной антропологии, а не истории. Это, например, подтверждают программы всемирных конгрессов историков и антропологов, участником которых автор был с начала 1970-х годов. В данном случае для нас важен взаимообогащающий диалог двух дисциплин, чтобы использовать его для нестандартного случая — историко-антропологического взгляда на рубеж веков и тысячелетий.

Сначала о некоторых исходных теоретико-методологических предпосылках данного анализа. Одним из центральных в социально-культурной антропологии (этнологии) является понятие *идентичности* как процесса конструирования значимых миров, особенно в их исторической перспективе. Одними из важнейших в XX веке стали такие формы коллективной (групповой) идентичности, как этническая (культурная) и национальная (государственная). Именно эти две основы для выстраивания социальных коалиций людей пришли на смену другим формам идентичности, которые господствовали в прошлые исторические эпохи, а некоторые сохранили свою значимость и поныне (религиозные, семейно-клановые, сеньориально-династические, регионально-местнические и другие). Две формы социальных группировок людей (государства и этнические общности) как бы обрели всеохватывающую форму и даже конкурирующий характер. Как заявил в начале 1990 годов один из идейно-политических лидеров современного татарского национализма Р.С.Хакимов, «Мир продолжает думать, что он состоит из государств, но на самом деле он состоит из этносов»<sup>1</sup>.

Идентичность как форма самоопределения личности или группы не происходит в вакууме, а в уже определенным образом организованном и интерпретированном мире. По этой причине личностные и групповые самоидентификации постоянно и неизменно подвергают фрагментации более широкое поле идентичности, частью кото-

рого были или остаются субъекты новой идентификации. Это верно как в отношении отдельного человека, так и общества или этнической группы («мы не советские, мы — латыши; мы не латыши, а мы — латгальцы», «мы — не россияне, а мы — татары; мы — не татары, а болгары» и т.д.).

*Конструирование прошлого в культурных терминах представляет собою процесс выборочной организации прошлых событий для обеспечения преемственности с современным субъектом идентификации.* Тем самым создается соответствующая версия прошлой жизни, которая ведет к современности, и тем самым «жизненная история» (страны, народа, человека) становится важнейшим актом самоидентификации. Идентичность — это прежде всего вопрос обретения власти (empowerment) в ее широком значении слова (легитимность, статус, полномочия и даже право на насилие). «Мы — не русские и не татары, а мы — башкиры со своей собственной историей» — без этого ментального упражнения невозможны все последующие акции: писание собственной «национальной истории», политическая мобилизация, «своя» государственность, занятие престижных постов, доступ к приватизируемым ресурсам, т.п. В этом контексте индивид или группа, или политическое образование не могут существовать без истории: чем она древнее и богаче культурными героями, тем сильнее аргументы в пользу современного права на отдельность и вытекающие из этого преимущества или, наоборот, потери.

Если вдруг с «собственной историей» не получается все гладко, то это, по мнению субъектов идентификации, означает, что история была «похищена», «искажена», «запрещена» или «замалчивалась» другими и требует обязательного «восстановления» или «исправления». XX век был самым историчным по части появления огромного числа новых субъектов групповой самоидентификации с претензией иметь академические версии своего прошлого и по числу профессионалов, которые добывают необходимый материал, создают и распространяют эти версии. Поскольку никакая идентичность, ни этническая (по группе), ни национальная (по стране или государственности) не являются естественно заданными, то они должны вырабатываться через усилия интеллектуалов, политиков и общественных активистов. Именно благодаря этим усилиям (устно-

семейные истории и местная среда явно отошли на второй план) создается эмоциональная и другая приверженность человека определенной этнической общности (культурной нации или этнонации) или стране (политической, гражданской нации). Эти две формы идентичности в XX веке, особенно в его последнее десятилетие на территории бывшего СССР, переживали драматические трансформации и меняли свое содержание. Так, например, поменяв идеологические приоритеты с узко этногрупповых на вариант этногосударственных (строительство татарстанской идентичности на преимущественной основе татарскости), тот же Р.С.Хакимов уже в должности директора Института истории Национальной академии наук РТ и помощника Президента республики формулирует историко-культурную задачу местных интеллектуалов в несколько ином виде: «Перестройка всколыхнула историческую мысль на всем пространстве СССР, включая Россию и Татарстан. Если в царское и советское время история каждого народа во многом совпадала с этногенезом (?! – В.Т.), то обретение независимости союзными республиками и объявление государственного суверенитета автономными поставили проблемы формулирования исторических исследований совершенно в ином свете. Любая государственность нуждается в своем историческом обосновании и черпает духовный потенциал в традициях. Татарстан, став самостоятельным, перестал зависеть от московской точки зрения и начал вырабатывать собственные взгляды на историю...

В то же самое время историческая мысль России оказалась в довольно сложном положении. Она попала под огонь критики с самых разных сторон: за приверженность марксистско-ленинской методологии, необъективность изложения русской истории, пренебрежение историей других народов и т. д. Более того она перестала выполнять роль эталона для историков, а потому историческая наука Татарстана оказалась перед необходимостью самостоятельно формулировать свои методологические и теоретические основы»<sup>2</sup>. Если мы внимательно сравним оба высказывания моего коллеги из Татарстана, то обратим внимание, что в конце 1990-х годов мир Р.С.Хакимова уже не так приоритетно состоит из этносов, а прежде всего из государственных образований, причем Татарстан и Россия

мыслится как две различные категории, т.е. Татарстан не как часть общероссийского пространства.

Историописание — это образ производства идентичности, поскольку история обеспечивает связь между тем, что предположительно произошло в прошлом, и сегодняшним состоянием дел. Конструирование истории — это создание значимой кладовой событий и рассказов, значимой именно для данного индивида или для определенного (*определенного* кем? — это особый вопрос) коллективного субъекта. Как отметил голландский антрополог Джонатан Фридман, «поскольку мотивация процесса конструирования исходит от субъекта, пребывающего в определенном социальном мире, мы можем сказать, что в каком-то смысле история — это отражение образа (автор употребляет термин *импринтинг* — В.Т.) настоящего в прошлом. И в этом смысле вся история, включая и современную историографию, представляет собою форму мифологии»<sup>3</sup>. Конечно, речь идет о мифологии в ее культурно-антропологическом, а не в бытовом понимании. Другими словами, *история представляет собою поле состязательности между субъектами идентификации, когда полный консенсус трудно достигим, несмотря на то, что само занятие историей в большинстве своем носит профессиональный характер и безусловно относится к разряду гуманитарного научного знания. Только само это знание и участники его производства пребывают в несвободном от культурно-ценностного контекста поле властных взаимовлияний и современных воздействий.*

В исторической антропологии существуют как бы два крайних подхода к историческому знанию. Для одних ученых (своего рода западный неомарксистско-структуралистский вариант) «исторические события не существуют и не могут иметь материальную эффективность в настоящем. Условия существования современных социальных отношений существуют и постоянно воспроизводятся в современности»<sup>4</sup>. Для других (постструктуралистская антропология), наоборот, «культура — это есть преимущественно организация современной ситуации в терминах прошлого»<sup>5</sup>. Обе позиции о взаимоотношении истории и антропологии достаточно экстремальны, хотя наши симпатии больше на стороне последней. Что же касается XX века, то *это был безусловно самый историчный век во многих отношениях: в смысле накопления эмпирического*

знания о прошлом, в смысле производства исторических версий и их прямой конкуренции, и в смысле воздействия историографии как науки и как части общественно-политического дискурса на социальную реальность.

### Конструируя реальность через теорию

Началом *fin de la siecle* дебатов среди историков можно считать изданную в 1987 году книгу английского историка Пола Кеннеди «Подъем и упадок великих держав». Эта интригующая своим предсказанием мирового упадка США книга заканчивалась следующими словами: «Перефразируя известную ремарку Бисмарка, все эти державы путешествуют по «потoku Времени», который они не в силах «создать или направлять», но по которому они могут плыть с большим или меньшим искусством и опытом. Что будет с ними в ходе этого пути, зависит во многом от мудрости правительств в Вашингтоне, Токио, Пекине и различных европейских столицах»<sup>6</sup>. В то время эти слова мне казались слишком тривиальными для концовки столь шумевшего сочинения, о чем мною было сказано автору во время его лекции в Нобелевском институте в 1990 и с чем он был вынужден согласиться.

Теперь я изменил это мнение по двум причинам. Во-первых, все последующие подобные глобально-исторические тексты, получившие огромную популярность, содержали изрядную долю упрощений и банальностей, что, видимо, необходимо для рыночных версий истории. Во многом банальными оказались книги Фрэнсиса Фукуямы о конце истории и Сэмюэля Хантингтона о конфликте цивилизаций. Во-вторых, в явно слабых заключительных словах Пола Кеннеди мы обнаруживаем гораздо больше проникновения, чем во всех его предшествовавших рассуждениях по поводу *теории* и *методологии*. Глубина этих слов заключается не в отсылке к детерминистской ремарке Бисмарка, а в допущении мудрости и глупости правительств как решающих факторов хода исторических событий. Именно этот взгляд на историю, позволяющий предвиденные и непредвиденные (стохастические) действия людей (правителей и других действующих лиц социального пространства) трактовать как

определяющие в «потоке Времени», представляется нам наиболее современным и адекватным.

Двадцатый век, особенно его последнее десятилетие только подтверждают наше убеждение, что *возможно единственным и основным законом истории является неопределенность и многовариантность, а у исторической импровизации столько же шансов, сколько и у исторической закономерности, если таковая устанавливается исследователем и не является столь часто встречающейся постфактической рационализацией.*

Исследуя антропологию российских трансформаций последнего десятилетия, особенно конфликтующую этничность<sup>7</sup>, мы пришли к выводу, что в обществах личности (или социальные агенты) не управляются автоматически и не действуют как часы по законам, которые они сами не понимают или которые выше их воли. Существует еще и то, что французский философ Пьер Бурдьё назвал «ощущением игры», позволяющей неопределенное число «движений» или шагов действия, которые приспосабливаются к неопределенному числу возможных ситуаций, которые в свою очередь не может предвидеть никакое правило<sup>8</sup>. Это указание Бурдьё на креативную и инновационную способность исторических акторов вести себя в соответствии с их позицией в социальном пространстве, а также на ментальные структуры, через которые они воспринимают это пространство, существенно помогает понять историю многих индивидуальных и коллективных стратегий, в том числе и в пространстве бывшего Советского Союза.

Руководствуясь «ощущением игры», как лидеры, так и обычные люди действуют как им представляется рационально, но все же их действия основываются не только на одном разуме, или «мудрости», если пользоваться словом Пола Кеннеди. Многие действия основываются на импульсах, потому что «условия для рационального расчета редко существуют на практике: время ограничено, информация неполная и т.п.». И все же, продолжает Бурдьё, «действующие агенты социального пространства выполняют ожидаемые действия (в смысле «единственное, что следует сделать») гораздо чаще, чем если бы они действовали просто наобум. Это происходит потому, что следуя в определенной ситуации интуитивно «логике практики», которая является результатом длительного общения в

схожих ситуациях, они предвидят присущую мироустройству необходимость»<sup>9</sup>.

Таким образом, *степень «неадекватности» или «неправильности» исторического действия — это всего лишь соотнесение с имеющимся коллективным или индивидуальным опытом на основе доступной информации об этом опыте*. Казалось бы такое заключение подтверждает распространенные сентенции, что «нужно знать историю» или «они плохо знают историю», когда речь идет о современном процессе и решениях, принимаемых его участниками. Как часто рассуждают обыватели и профессионалы, плохо знали историю отмены крепостного права или столыпинской реформы в России или плохо знали историю Кавказа и даже не читали повесть Толстого «Хаджи Мурат» — вот от этого беды и ошибки Горбачева, Гайдара и Ельцина.

В этих безоговорочных суждениях о пользе исторического опыта, который включает как исторические «свершения», так «ошибки», есть одна фундаментальная слабость, которую до этого не отмечали как теоретики истории, так и философы-социологи, включая упоминавшегося Пьера Бурдьё. Это касается самой «необходимости», которая якобы присутствует в историко-временном пространстве, и того, что аккумулированный опыт прошлых действий всегда необходим для современного решения.

Мы исходим из того, что *история как осмысленная версия — это современный ресурс и в принципе каждое новое поколение пишет свою собственную историю, как и в каждом поколении присутствуют конкурирующие версии с разными шансами стать если не единственными, то хотя бы доминирующими*. Многие из исторических версий — это те же политические лозунги, но только в форме академического нарратива. В ситуации же радикальных трансформаций или открытых конфликтов история становится сражающимся ресурсом, который используется во властных диспозициях не менее активно, чем образы массмедиа или метафоры попкультуры. Было бы явно недостаточно только возмущаться тем, как, например, современные украинские или татарские историки переписывают историю Киевской Руси и Золотой Орды в духе новых этнонационалистических концепций или как северо-осетинские гуманитарии и политики прибрали в свое исключительное пользова-



ние аланское культурное наследие, для надежности закрепив данную узурпацию в названии республики. «Вот если так дело будет продолжаться, возьму и объединю обе Осетии и назову это все Аланией: историки знают, что наши аланские кости разбросаны по всему Кавказу», — заявил мне однажды летом 1992 года президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, когда предпринимались наиболее активные усилия урегулировать вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Каким образом формулируются подобные первоначально элитные версии и как они попадают в умы (лексикон) президентов, а затем простых людей, — это казалось бы вопрос за пределами традиционного историографического интереса, до сих пор основанного на европейском представлении о поиске «истины в истории». Но следует признать, что даже «канонические» версии — это когда-то злободневная политика и всегда — личная позиция автора. История — это почти всегда призыв и предписание и это всегда — субъективный взгляд. Но и в этом мне не видится проблема, которая бы не осознавалась профессионалами. На то существуют историческая критика и другие проверочные процедуры, включая научные дискуссии. Методологическая слабость пушкинского «опыт — сын ошибок трудных» видится мне в том, что сам этот опыт в XX веке — веке профессиональной историографии и ее массового потребления — это есть результат идеологических предписаний, когда теория не только отражает, но и вызывает к жизни «реальность» и (или) может разрушать ее.

Мы прожили этот век в радикальном отличии от предыдущих эпох тем, что историография как часть идеального профессионального перестала быть исключительной собственностью самих производителей этого идеального. Более того, в сверх образованных обществах какими было советское и какими в большинстве пока остаются постсоветские общества, вокруг профессионального гуманитарного производства образовался и активно действует периферийный массовый дискурс, в котором наука, паранаука и бытовое сознание пребывают в причудливых взаимосвязях. Только в таких обществах статья в научном журнале может стать поводом для массовой публичной демонстрации, а идеологические активисты отслеживают научные публикации, чтобы устраивать обширные газетные

полемики или принимать по этому поводу политические декларации. Например, в чеченской декларации о суверенитете, принятой в 1991 году на политическом митинге, называемом «Объединенным конгрессом чеченского народа», нашлось место для отдельного пункта, который осуждал местного историка и археолога В. Виноградова за версию «добровольного вхождения», лишал его прав «гражданина Чеченской республики» и осуждал всех, кто придерживается этой версии. Наоборот, с политического митинга и из официального кабинета пришло жесткое предписание армянской историографии считать Нагорный Карабах «исконно армянской территорией», грузинской историографии — считать Южную Осетию «сердцем Грузии — Самачабло», а уличную демонстрацию и ее насильственный разгон вписать в учебники как «апрельскую революцию». Своя национально-освободительная «январская революция» появилась в азербайджанской историографии, под которой подразумеваются использование армии для наведения порядка и жертвы среди гражданского населения в Баку в 1990 году. Постсоветские трансформации начались и заканчиваются историческими экскурсами и дебатами вокруг прошлого, особенно советского прошлого. *Но в какой-то мере сами эти трансформации и сопровождающие их кризисы и конфликты были сделаны со ссылками на историю, точнее, на сочиненные версии прошлого и по лекалам исторической пропаганды.*

Если объяснительные версии сочинены на основе заангажированных современной борьбой установках «национального освобождения» или «национального самоопределения», то став через пропаганду и учебные тексты уже частью того самого опыта «сходных ситуаций», они относятся скорее к категории не «пользы», а «вреда» истории, о чем сами историки предпочитают никогда не говорить, ибо считают, что истории «мало быть не может». поприветствовав руководителя чеченской делегации Таймаза Абубакарова на переговорах во Владикавказе в декабре 1994 года обычным «Ну, как дела?», я услышал в ответ: «Дела — революционные. Всю жизнь нас только этому и учили». Безусловно, чеченский проект вооруженной сецессии идеологически обеспечивался теми выученными конструкциями о «национально-освободительных движениях» и «праве наций на самоопределение», которыми были полны школьные и ву-

зовские прописи советского периода и академические сочинения. Не обошлось и без внешних подсказок все тех же историков ислама, Кавказа или «империи Кремля»<sup>10</sup>.

Даже когда наступил период ответственных смыслов, российские гуманитарии продолжали повторять или «развивать» саморазрушительные и научно несостоятельные проекты архетипического этнического (этносы, суперэтносы, субэтносы и пр.), «национального возрождения» ( в смысле восстановления некой этнокультурной нормы, якобы существовавшей в прошлом), создания для каждой этнической группы «своего» государства, и прочее. Зуд интеллектуальных предписаний для остального общества, выполненных на основе узко профессионального, а чаще — поверхностного знания, всегда был в арсенале современных сообществ, но оказался особенно востребованным в новейший период, тем более в обществах, переживавших радикальные преобразования. Г.П.Лежава, работавший в Абхазском Научно-исследовательском институте языка, литературы и истории АН ГССР еще в доперестроечные времена, вспоминает как его покойный директор Г.А.Дзидзария в середине 1980-х годов тревожно заметил по поводу научных занятий одного из своих сотрудников: «Этот Владислав Ардзинба со своими писаниями по так называемой хеттологии доведет нас до войны с грузинами: не все ведь могут так спокойно реагировать».

Кстати, первые вооруженные столкновения между грузинами и абхазами произошли почти сразу после газетной дискуссии (в форме «открытых писем» обладателей истины) между Гамсахурдиа и Ардзинба по поводу того, на каком языке выполнены каменные надписи местных памятников древности. Между войной историков и филологов и настоящей войной дистанция фактически исчезла, когда те же сами интеллектуалы стали обладателями власти и обрели способности организовать войну. Аналогичные ситуации наблюдались мною в других регионах мира с сильным влиянием этнонационализма и наличием вооруженной сепаратистской. В Квебеке, Ольстере, на Кипре и в Шри Ланке — везде интеллектуалы обеспечивали передовые рубежи эмоциональной и политической мобилизации, и в конечном итоге их слова убивали не меньше чем пули.

Если вернуться в постсоветское пространство, то в какой-то степени не только идеология конфликта, но и сами действия абхаз-

ских, карабахских, чеченских инсургентов-сепаратистов стали не результатом необходимого ответа на практику схожих ситуаций (если следовать Бурдые), а попыткой сделать реальностью нереализуемый проект, зафиксированный в многотомных текстах по истории «национально-освободительных» и «международных рабочих» движений, удостоенных высшими госпремиями как аттестат исторического профессионализма. Даже то, что казалось бы не выучено из профессиональных версий, а представляется как «прямой опыт», на проверку оказывается также внешним предписанием.

На упомянутых переговорах во Владикавказе каждый из чеченцев говорил о трагедии сталинской депортации как одной из причин борьбы за отделение Чечни от России. Чаще всего употреблялся термин «народоубийство» и «этноцид». Но почти никто из нынешнего поколения комбатантов непосредственно своей личной жизнью эту трагедию не переживал (почти все они родились после 1958 года), зато большинство — закончили советские престижные вузы и военные училища. Депортация стала современной и всеобщей коллективной травмой под влиянием драматических историко-литературных презентаций «всеобщего Гулага» и «400-летнего чеченского сопротивления». Что же касается метафоры «народоубийства», то она напрямую была заимствована из сочинения чеченского эмигранта Абдурахмана Авторханова об «империи Кремля» и подобных им сочинений с мощным зарядом жизненного и политического реванша со стороны старшего поколения<sup>11</sup>. Только творить историю этого реванша стали уже распропагандированные по поводу «геноцида» чеченцев внуки историка и политолога. Подлинная (лично прожитая) история сравнительно благополучной советской чечено-ингушской автономии (ЧИАССР) вспомнилась уже позднее на фоне разрушенного Грозного и разрушенного местного сообщества, то есть свершившегося исторического действия.

По большому счету, следующая пушкинская строка «и гений — парадоксов друг» звучит гораздо историчнее, ибо она более открыта современному историческому творчеству, которое не обязательно всегда есть продолжение прошлого. В этом смысле нам более близки заключительные слова другой «большой книги» по поводу «короткого двадцатого века», которые принадлежат одному из патриархов современной историографии. Эрик Хобсбаум так закан-

чивает свое исследование истекшего столетия — «Века экстрем»: «Мы не знаем, куда мы идем. Мы только знаем, что история привела нас в эту точку и, если читатель разделяет подход в этой книге, то и — почему привела. Тем не менее, одна вещь представляется ясной. Если человечеству предписано иметь узнаваемое будущее, то оно не может быть продолжением прошлого или настоящего. Если мы попытаемся строить третье тысячелетие на этой основе, мы потерпим неудачу. И цена неудачи, то есть альтернатива изменяющему обществу, — есть мрак»<sup>12</sup>.

Итак, мы рассматриваем историю XX века и нынешний этап исторической эволюции не просто с точки зрения профессионала-историка установить «как было». Для нас история — это также сложный дискурс идеального (включая исторические и другие писания) и так называемого «реально-исторического». В этом дискурсе историки и другие интеллектуалы не только отражают и объясняют историю, но и творят (конструируют) реальность, причем, как в созидательных, так и в разрушительных вариантах. Именно здесь проходит основная граница нашей методологической новации в отличие от предшествующих авторов метадебатов по поводу «большой» истории (т.е. истории глобальных сообществ и глобальных явлений). Мы считаем, что *XX век во многом создавался интеллектуалами, причем не только в форме объяснительных описаний происходящего, но и в форме предписаний, что и как надо делать. И в этом смысле мы говорим не просто об ответственности историка, но и об авторстве историка в истории, а значит и о пользе или вреде его действий.* Прожитый век, особенно отечественная история, дают более чем достаточно оснований для такого взгляда.

### **История как политика признания и отрицания**

Мы уже отметили первичное значение групповой и индивидуальной идентичности, т.е. сугубо культурного фактора, в определении природы и смысла историописания. XX век добавил этому фактору значения и власти настолько, что, по мнению некоторых экспертов, прожитое столетие войдет в историю как время противостояния двух важнейших тенденций: глобализации и нивелирования жизни через массовую культуру, с одной стороны, и растущим

осознанием групповой солидарности и крепнущей властью социальных сил и движений, основанных на религиозных, этнических, коммунальных и других идентичностях, с другой.

Мануэль Кастелс, посвятивший 3-томный труд XX веку и концу тысячелетия, свой первый том назвал «Власть идентичности». Выдвигая положение о появлении нового типа общества — общества неформальных сетей или информационного общества, — Кастелс тем не менее пишет: «Вместе с технологической революцией, трансформацией капитализма, упадком государственности, мы пережили в последнюю четверть века всеобщий взрыв мощных проявлений коллективной идентичности, которая бросает вызов глобализации и космополитизму от имени культурной уникальности и стремления людей контролировать собственные жизни и среду обитания. Эти проявления множественны, крайне разнообразны, соотносятся с контурами конкретных культур, и каждая идентичность имеет исторические истоки своего образования. Они включают в себя общественные движения с целью изменения природы человеческих отношений на их наиболее фундаментальном уровне, как, например, феминизм и инвайронментализм. Но они также включают целый спектр реактивных движений, которые выстраивают ряды сопротивления от имени Бога, нации, этничности, семьи, локального сообщества. В результате фундаментальные категории тысячелетнего существования оказались перед угрозой совместного вызова противоположных сил техно-экономического характера и трансформационных социальных движений»<sup>13</sup>.

По мнению многих специалистов, XX век был веком меньшинств и различных социальных и культурных движений, в том числе сугубо партикуляристского толка, которые представляют собою мощную реакцию на глобальную экономическую и культурную унификацию. Между двумя этими тенденциями оказались национальные государства, которые переживают глубокий кризис и не справляются с новыми вызовами<sup>14</sup>. Рассмотрим эти аргументы с точки зрения социально-культурной антропологии.

Действительно, еще в начале века сложившаяся система государств, которая включала огромные колониальные империи, определяла во многом нормы общественной жизни, во всяком случае — на уровне администрирования территорий, обеспечения правопо-

рядка и безопасности. Государства как самые мощные и всеохватывающие социальные коалиции людей определяли как коллективные идентичности, так и характер форм исторических презентаций. Люди прежде всего делились на граждан соответствующих государств и их колониально-административных владений, а история писалась как история государств, их политических институтов и их военных соперничеств. В принципе подобная ситуация сохранялась на протяжении всего XX века как в реальной политике, так и в историографии. Вторая половина века добавила только образование крупных блоковых коалиций государств и их мощнейшее идеологическое и политическое противостояние, чем также с энтузиазмом занимались (отчасти, соучаствовали) историки новейшего времени.

Однако уже после первой мировой войны рождается политически оформленное движение этнических (национальных) меньшинств и доктрина национального самоопределения в ее новом (неякобинском) варианте не как самоопределение гражданских сообществ, а как образование государств, у которых этнокультурные границы совпадали бы с границами политико-административными. Это было рождение нового национализма, а точнее — этнонационализма<sup>15</sup>. Как отмечает Э. Хобсбаум, современный национализм с самого начала был «политическим проектом». А суть этого проекта состояла в том, что западно-европейские державы вместе с США как победители в первой мировой войне использовали принцип этнического самоопределения для навязывания своей воли по послевоенному обустройству главным образом Восточной Европы. Несмотря на предостережения некоторых экспертов, Вудро Вильсон и другие лидеры выдвинули этот принцип в его наиболее трудно реализуемом варианте, и, конечно, не для тех территорий, над которыми они осуществляли государственный суверенитет, а для тех, в отношении которых была продиктована воля победителей.

История распорядилась так, что именно с начала века и до самого его окончания принцип этнического самоопределения нашел своих адептов и по-разному (в основном насильственным путем) реализовывался на ограниченной части территории Земли. А именно — в Восточной Европе, включая и СССР, где не столько сам факт этнического многообразия населения (другие регионы мира не менее многоэтничны), а именно доктринальные установки стали

определяющим фактором этого политического проекта. Сначала это была доктрина австро-марксизма о существовании культурной нации как архетипической реальности со своей коллективной волей и интересами. Затем эклектическая марксистско-ленинская теория нации и национального вопроса и, наконец, так называемая советская теория этноса, согласно которой *нация* — это высший тип этнической общности<sup>16</sup>. Именно академическая доктрина и под ее воздействием — политическая практика развели процессы государство-устройства в отношении к этнокультурному фактору в зоне идеологического влияния СССР и остального мира.

Во «внешнем» мире на протяжении XX века фактически сохранился рожденный Французской революцией принцип государство-образования как территориального сообщества, т.е. на принципе политической нации. Даже образование новых 60 государств после второй мировой войны под лозунгами деколонизации и национального самоопределения произошло в жестком противодействии этническому (трайбалистскому) принципу государственной организации. Иначе не было бы возможности появиться на карте ни одному из постколониальных государств Азии и Африки: от Индии до Нигерии.

Только в последние десятилетия ситуация за пределами бывшего «соцлагеря» стала меняться, но далеко не радикальным образом. С началом моих собственных этноисторических исследований в Северной Америке в 1970-е годы совпало общественно-политическое и культурное движение за внутреннее самоопределение среди аборигенных народов США и Канады. Именно тогда родилась метафора «первых наций», которую мобилизовали индейские активисты, чтобы улучшить социальное положение и сохранить культурное многообразие этой части населения. В рамках североамериканских национальных государств появляются «нации» дене, навахо, оджибве, лакота и десятки других<sup>17</sup>. Примечательно, что за контакты с активистами организации «Гавайская нация» на Гавайях в 1983 году мне было сделано внушение американским ФБР, а еще десятилетием раньше работник Канадской конной королевской полиции (название национальной спецслужбы) буквально ходил по моим пятам, когда я изучал в Квебеке франко-канадский «национальный вопрос». Кстати, и моя первая научная статья в журнале «Вопросы



истории» в 1968 году называлась «Происхождение франко-канадского национального вопроса». Для моих методологических воззрений того времени Канада представлялась «многонациональной» страной с двумя основными нациями, аборигенными народами и национальными меньшинствами, а США — страной американской нации с нерешенным национальным и расовым вопросами. Нервная озабоченность властей по поводу сепаратизма от имени культурно отличительных меньшинств представлялась мне подтверждением «нерешенности национального вопроса» в условиях капитализма.

Вот только тогдашний премьер-министр Канады Пьер Трюдо разъяснял обществу, включая радикальных националистов-франкофонов и, заодно, заезжего советского профессора, что в Канаде есть только одна нация канадцев, которая объединяет всех лояльных граждан страны независимо от этнического происхождения, расы и религии<sup>18</sup>. В США мои коллеги-историки и этнографы также придерживались мнения, что называемое мною «национально-освободительное движение» американских индейцев есть не что иное как политическая мобилизация со стороны городских индейских радикалов на почве серьезных социальных проблем и дискриминации среди коренных жителей страны.

Еще десять лет спустя, мною изучался опыт самоуправления среди норвежских саамов, в том числе при содействии активистов организации под названием «Саамская нация». Но только ни сами саамы, ни остальные известные мне норвежцы не подвергали сомнению существование норвежской нации и собственное членство в ней. Хотя мои собственные наблюдения за норвежцами говорят, что полная «национальная» консолидация в этой стране произошла только в итоге Зимних олимпийских игр в Лилиехаммере, когда спортивный триумф заставил часть граждан прекратить разговоры, что «мы — такие же шведы».

Богатый и политически стабильный западный мир в 60-80-е годы признал проблему меньшинств как проблему социальной дискриминации, как проблему особого статуса малых культур и сохранения этнокультурного многообразия населения собственных стран. Со стороны доминирующих обществ и государственных институтов было много сделано по части утверждения доктрины многокультурности и осуществления ряда реформ, в том числе и конституцион-

ных (фактическая федерализация постфранкистской Испании с учетом этнокультурного фактора, признание трех-общинной основы государственного устройства Бельгии, Саамский парламент в Норвегии, национальные законы и международные декларации о правах меньшинств и т.п.). Но тот же самый мир западных либеральных демократий не стал заимствовать саморазрушительную доктрину «многонациональности» и не сдал понятие гражданской многоэтнической нации в пользу этнического понимания данной категории. Более того, сепаратистские движения, а тем более в насильственной форме, были встречены жесткими мерами подавления и принуждения со стороны государственных институтов. Никаких «непредставленных наций и народов» или «наций без государств» западные страны в собственных сообществах не допустили, направив ресурсы и энергию этнических предпринимателей и озабоченной части интеллектуалов на внешний мир. Остался жить в канадской резервации Кахнаваке (а не в «собственном» государстве!) мой личный друг еще по канадским поездкам Большой вождь Джозеф Нортон, отсиживает свой пожизненный срок в американской тюрьме лидер американских индейцев Леонард Пелтиер и надолго замолчал его соратник Рассел Минц, в защиту которых я когда-то написал статью в «Литературной газете» под названием «Мир должен придти в нам на помощь». Сошла в политической арены организация «Гавайская нация», а ее лидер Милани Траск возглавила основанную в Гааге международную «Организацию непредставленных народов и наций», которая сразу же приняла в свои члены прежде всего радикал-националистов из бывшего СССР, которые хотели говорить от имени «непредставленных» абхазов, чеченцев, чувашей, карачаевцев, балкарцев и т.п.

Таким образом, начавшись на Западе, движение за права меньшинств и их самоопределение обрело в последней трети XX века широкий международный характер и распространилось на другие регионы мира. И здесь мы наблюдаем достаточно удивительные метаморфозы казалось бы одной из глобальных общественных тенденций прожитого века. Инициаторами и реальными лидерами международного движения меньшинств и близкого ему движения за права аборигенных народов были и остаются западные активисты, к которым добавились в самые последние годы выходцы из стран Ла-

тинской Америки, Азии и Океании. Это движение сделало много, чтобы обратить внимание остального мира на ситуации нетерпимой дискриминации и даже геноцида в отношении малых групп. Двое из аборигенных лидеров (индеанка-майя из Гватемалы и два индонезийца из восточного Тимора) даже получили возможно вполне заслуженные Нобелевские премии мира за свою деятельность в защиту прав меньшинств. Но каков исторический итог и современный политический смысл политики культурного многообразия?

Не столь богатые страны и не с такими стабильными центральными правительствами, тем более образованные в XX веке государства из конгломерата бывших колониальных администраций, с огромной озабоченностью встретили политизацию этнических общин и отдельных регионов. Сепаратистские и трайбалистские движения в условиях нищеты, политической нестабильности и отсутствия опыта государственного управления почти повсеместно вылились в насильственные конфликты и затяжные гражданские войны, а также в межгосударственные столкновения. Вторая половина XX века стала свидетелем действительно глобального явления — это эскалация насилия и войн внутригосударственного характера. Большинство этих войн и конфликтов — это так называемые войны «за идентичность и веру», т.е. войны за этническое самоопределение, сепаратистские или ирредентистские политические проекты. Часть конфликтов — это вооруженная борьба за власть над центральным правительством разных соперничающих группировок, опирающихся на представителей той или иной этнической или религиозной общины, проживающих в едином государстве. Только за период с 1990 по 1995 годы 70 государств были вовлечены в 93 войны, в которых было убито 5,5 миллионов человек. Три четверти этих жертв — гражданское население, включая один миллион детей<sup>19</sup>.

Еще один итог века меньшинств — это демонтаж почти всех оставшихся в мире колониальных образований (внешне управляемых политически несамостоятельных территорий), распад части многоэтничных государств (СССР и Югославии) или их серьезное ослабление внутренними войнами (Индия, Индонезия, Нигерия и другие). Многими историками и обозревателями этот итог прожитого века представляется как одно из его бесспорных достоинств. Экстраполируя эту тенденцию в будущее и определяя «политику мира

для 21 века», норвежский философ и один из основателей исследований по проблемам мира (peace research) Йохан Галтунг высказался за глобальную конфедерализацию и создание некой параллельной организации «объединенных этнонаций»<sup>20</sup>. Вместе с другими цивилизационными теориями в их глобально-конфликтной интерпретации подобные «стратегии мира» на самом деле являются конфликтногенными интеллектуальными провокациями, которые исходят из простенького постулата, навеянного инерцией холодной войны, что после одной глобальной борьбы (мира капитализма и мира коммунизма) в мировой истории должна наступить другая глобальная форма конфронтации: по линии мировых религиозных систем или по линии этнические общности versus государства.

На самом же деле мы имеем несколько другие обозначившиеся мировые тенденции. В последние десятилетия XX века под давлением этнического партикуляризма и регионального сепаратизма и при мощном внешнем воздействии на этот процесс в мире возникло несколько десятков мелких государств (с населением меньше одного миллиона человек), которые представляют собою еще в большей степени квази-государства, чем те, в результате разрушения которых они были образованы. Значительная часть этих государств стала дополнительным бременем для тех простых людей, от имени которых эти малые государства были созданы (содержание госаппарата, армии, посольств, обустройство границ и таможни, и прочее). Некоторые из этих стран стали просто вассальными клиентами более состоятельных государств или их международных объединений. Некоторые строят экономику и относительное благополучие на легальном или полуполюгальном использовании ресурсов своих соседей и даже тех стран, от которых они отделились. Но самое главное — именно эти полусостоявшиеся новые государства чаще всего становятся частью так называемых «серых зон» (выражение российского историка Андрея Фурсова), где процветают нелегальные отмывание денег через оффшорные компании, торговля оружием и наркотиками, где находят убежище авантюристы и преступники из других государств.

В настоящий момент мировое интеллектуальное и политическое сообщество еще во многом разделяет идеологию и практику политики меньшинств. В историко-политологических и антрополо-

гических конструкциях продолжают пользоваться популярностью созданные главным образом американскими учеными теоретические концепты о «базовых групповых человеческих потребностях» или о «группах риска». Согласно этим политически корректным и популярным подходам, человеческие коллективы (имеются в виду прежде всего этнические группы) обладают некими природными потребностями, которые не зависят от установок и желаний отдельных людей. Это — стремление к обеспечению выживания, единства, однородности, целостности, суверенитета, устранению внешней угрозы и страхов<sup>21</sup>. Поскольку во многих странах мира меньшинства испытывают нарушения в отношении своих «базовых потребностей», а также другие формы социальной депривации и политической дискриминации, то они пребывают в состоянии риска и по этой причине могут либо исчезнуть как отличительные общности, либо применить любые формы для защиты своих интересов и изменения статус-кво. Американский политолог Тед Гурр вместе со своими помощниками на основе компьютерной обработки массивной информации по всему миру установил 233 группы меньшинств, которые находятся в состоянии риска<sup>22</sup>. Эта же методология группового риска была затем использована для еще более амбициозного проекта для определения прочности и перспектив возможного краха тех или иных государств в мире. Достаточно сказать, что для данного проекта, выполненного по заказу вице-президента США Гора и на деньги ЦРУ, было использовано 2 миллиона единиц информации по 600 параметрам за исторический период с 1955 по 1994 годы по 180 странам, чтобы установить некие общие закономерности кризиса и возможного краха современных государств<sup>23</sup>.

Мы уже подвергли критике данные академические мета-проекты применительно к объяснению конфликтов<sup>24</sup>. Здесь нас интересует прежде всего их предписывающая, конструирующая роль. Мне как редактору энциклопедии «Народы и религии мира» (1998), которая содержит 1250 статей об этнических группах (народах) и этим список далеко не ограничивается, трудно себе представить всеобщую переделку политических образований мира по этническим границам, которые крайне подвижны как в смысловом, так и в пространственном аспектах. Здесь присутствует ряд глубоких несоответствий теоретических постулатов с культурными реалиями. Во-

первых, сама номенклатура избранного списка меньшинств в «состоянии риска» является крайне условной и явно политически мотивированной: не меньший список можно было бы составить абсолютно из других, политически неактуализированных клиентов. Во-вторых, групповые «базовые потребности», прежде чем оформиться и осознаваться, должны быть кем-то объяснены и политически оформлены, ибо существует огромное число групп в мире, представители которых переживают еще более серьезные проблемы, но только этого не осознают или признают их как норму, против которой не выступают. Или же эти проблемы есть часть общих проблем остального населения государства. В-третьих, почему признается наличие «базовых потребностей» среди групп меньшинства и отрицается наличие таких же потребностей у групп большинства, тем более, что в современном мире меньшинства не менее часто выступают инициаторами насилия и конфликтов?

*Нам представляется, что наступающий новый век будет временем реакции групп большинства на несостоятельные проекты от имени меньшинств по разрушению общего политического пространства вместо улучшения системы правления и культурной политики в рамках общего государства.* В настоящий момент все еще господствует метафора «малое прекрасно» (small is beautiful), которой несколько лет тому назад попытался объяснить мне преимущества раздела страны своего происхождения — Чехословакии ныне покойный, выдающийся антрополог Эрнест Геллнер. Значительная часть экспертов и политиков дискутирует главную дилемму мироустройства: быть новым государствам на основе этнического самоопределения и стремления создать культурно однородные государства вместо многоэтнических образований, или сохранять и даже укреплять существующую систему, улучшая ситуацию с индивидуальными и коллективными правами человека и социальным устройством людей. Российский посол во Франции Н.Н.Афанасьевский в марте 2000 года признался в неофициальном разговоре, что во время его вовлеченности в дипломатические усилия по предотвращению дальнейшей дезинтеграции территории бывшей Югославии известный российский политик (ныне также российский посол в Чехии) Н.Т.Рябов высказал мнение, что «все эти усилия тщетны, ибо пришло время создания моноэтнических государств»<sup>25</sup>. «Ну так все-

таки, каково Ваше мнение, ученых-этнологов, на этот счет?» — спросил посол.

Действительно, трудно противостоять постфактическим рационализациям, которыми сопровождаются процессы разделения государств, этнические чистки и вынужденные переселения, международные операции по миронавязыванию, различные планы и соглашения политиков и дипломатов. Та же многолетняя трагедия на Балканах представляется историками уже как закономерный процесс распада «имперской» Югославской федерации и как закономерная реакция на жестокость «имперской нации» сербов. Уже не так убедительно, но все же часто в подтверждение симпатий к сецессии как некой закономерности приводятся примеры Ольстера, Квебека, страны Басков, и другие. Для нас последние примеры говорят скорее о противоположной исторической тенденции: все попытки на протяжении десятилетий со стороны радикальных этнонационалистов, а тем более сторонников террора, заканчиваются неспособностью мобилизовать на свою сторону большинство населения, для которого они хотят добиться независимости. Государства, в свою очередь, демонстрируют способность к принуждению или к переговорам для сохранения своей целостности и непохоже, чтобы намечались где-либо пересмотры конституций, которые во всех известных мне случаях не предусматривают самороспуск или разделение государств. Некоторые государства реагируют крайне жестко на мини-национализмы и сепаратизм на подконтрольных территориях (например, Бирма, Индия, Испания, Китай, Турция, Ирак, Конго, и другие), некоторые сочетают жесткость с политикой уступок и переговоров (Англия, Бельгия, Мексика, Индонезия и другие). Но никто не признает беспереговорную (явочную) сецессию, включая и международное право. Похоже, именно эта тенденция будет укрепляться в 21 веке.

Почему так, если казалось бы мир признал благотворность распадов государств в конце XX века и только немного сожалеет, что не везде удалось это сделать без кровопролития? Некоторые уже давно называют в очереди на новое государственное самоопределение Косово, Чечню, а за ними десятки новых клиентов в государствах Африки и Азии, где «колонизаторы установили искусственные границы». Все это представляется как процесс победы демократиче-

ских принципов и «освободительных движений», которым бесполезно сопротивляться и которые неизбежно победят в будущем<sup>26</sup>. И все же почему мир скорее всего будет двигаться в обратном направлении?

Во-первых, еще не пришло время выносить окончательные оценки тектоническим переменам, связанным с распадом государств в конце XX века. Даже расхваленные случаи отделения Эритреи от Эфиопии и «бархатного раздела» Чехословакии сегодня обезображены кровавой войной между двумя африканскими государствами и серьезными осложнениями проблемы венгерского меньшинства в Словакии, не говоря о сохраняющемся массовом удивлении населения, мнения которого инициаторы раздела не спрашивали. Во-вторых, цена, уже заплаченная за раздел вполне легитимного югославского государства с признанными высокими стандартами положения этнических меньшинств оказалась непомерно высока. Все чаще высказываются мнения историков и политиков, что геополитическая спешка, особенно со стороны внешних игроков, закрыла путь для другой возможной исторической альтернативы — демократических реформ и улучшения системы государственного управления в бывшей Югославии. В-третьих, навязанные внешними силами и сопровождавшиеся массовыми этническими чистками новые государственные конфигурации никак не решили проблемы этнических меньшинств, ибо чем больше новых границ, тем чаще они проходят по границам проживания различных народов и тем больше создается новых меньшинств. Как воспримут будущие поколения жителей этих новых государств границы, вычерченные в госдепартаменте США или во французском замке Рамбуйе, и переживут ли они опыт бессмысленного кровопролития без новых циклов насилия в будущем, остается большим вопросом для наступившего нового века.

### **Советское наследие и постсоветские траектории**

Если не считать мировые войны, то, пожалуй, самым драматичным событием XX века было возникновение, существование и распад Советского Союза. Это эпохальное событие, и прежде всего распад в 1991 году, было столь значительным, что уже вызвало ог-



ромное число историко-политологических интерпретаций самого разного, в том числе абсолютно противоположного характера. Одни считают весь исторический эксперимент на территории одной шестой части земной суши «советской трагедией» — неким осуществленным большевиками разрывом «естественного» хода истории, который имел результатом более чем 70-летнее существование Советской власти как исторической аномалии, которую следовало неизбежно исправить и вернуть Россию на путь «нормального», цивилизованного развития<sup>27</sup>. Другие склонны видеть в этом событии некий «рванш истории» — своего рода расплату за неосуществленную модернизацию и некий «догоняющий» характер исторического развития России (А.С.Панарин, И.К.Пантин). Третьи — географически и культурно детерминированный циклизм российского развития, который из-за недостаточного потенциала приводит к возврату к «исторически более ранним формам» (А.С.Ахиезер)<sup>28</sup>. Имеются серьезные попытки осмыслить роль этнокультурного фактора в распаде СССР<sup>29</sup>.

В мировой литературе, включая исторические сочинения в постсоветских государствах, доминирующая позиция утвердилась за парадигмой «распавшейся империи» — метафорой, в свое время появившейся на обложке книги французского историка Элен Каррер Данкосс, написанной совсем на другую тему<sup>30</sup>. Суть этой парадигмы состоит в том, что СССР был последней в мире «многонациональной империей», которая самой историей, т. е. в результате национально-освободительных движений, была обречена на распад, как это произошло со всеми другими империями. Эта концепция настолько глубоко утвердилась в зарубежном обществоведении, что старое и новое поколения исследователей даже не пытаются подвергать его сомнению. Среди американских коллег, например, наглухо забыта работа в начале 1980-х годов совместной советско-американской комиссии историков по содержанию школьных и вузовских учебников по истории в обеих странах, которая в своих заключительных рекомендациях высказалась за некорректную интерпретацию СССР после Сталина как «тоталитарного государства», не говоря уже об обозначении СССР как «империи». Рейгановская фраза об «империи зла» воспринималась профессиональными исто-

риками в обеих странах как курьез воспаленной политической риторики.

Каковы теоретико-методологические слабости постфактических рационализаций относительно «Советской империи», которые появились уже в период перестройки и мощно обрушились на профессионалов и на массовое сознание после 1991 года? Во-первых, сама по себе имперская парадигма была как порождением действительно радикальных перемен, так и эмоционально-политическим орудием этих перемен. Это не просто академический концепт, а это мощный идеологический лозунг, вызвавший к жизни новые реалии. Не заявляя некоторые очень популярные историки в разгар горбачевской перестройки, что СССР — это историческая аномалия и ему нет места на исторической карте, еще не известно как без этого самого важного аргумента интеллектуалов осуществлялась бы политическая мобилизация на демонтаж существовавшего политического режима, а вместе с этим и исторического государства. Видеть эту дискурсивную (диалогичную) природу имперской парадигмы, а значит ее изначальную академическую слабость, в отношении СССР крайне важно. СССР действительно был многоэтничным (на советском жаргоне — «многонациональным») государством со сложными проблемами взаимоотношений центра и периферии, доминирующей русской (точнее — русскоязычной) культуры и культуры этнических меньшинств, но этого явно недостаточно, чтобы считать его нелегитимным государством, а тем более — империей. В таком случае империями следует считать десятки ныне существующих и вполне легитимных государств с аналогичным культурно сложным составом населения и аналогичными проблемами взаимоотношений центра с периферией и доминирующих групп с меньшинствами (Индия, Индонезия, Испания, Канада, Китай, Нигерия, Пакистан, Турция и десятки других стран). Многоэтничная Испания даже формально имеет королевскую форму правления, но квалифицировать ее как империю никто не торопится. Неужели имперская дефиниция государственной природы СССР так и сохранится в исторических трудах и учебниках 21 века как наказание за политизированную интеллектуальную импотенцию его исследователей? Не хотелось бы в это верить.

Вторая фундаментальная слабость исторических интерпретаций существования и распада СССР заключается в методологической ловушке самой, как я ее определяю, революции двойного отрицания, когда вместе с отторжением и демонтажем существовавшего режима была отвергнута и сама история общества с его нормами, ценностями и повседневностью, которые мало отличали его от многих других обществ. Социально-культурные антропологи и некоторые историки только недавно обратили внимание на то, что подавляющая масса советских граждан в своей повседневности руководствовалась рациональными жизненными стратегиями обеспечения своего социального существования, необязательно вступая в ряды активистов коммунистической партии или в ряды диссидентов, а просто «пробивалась по жизни, как это делают большинство людей в большинстве стран мира»<sup>31</sup>. Нам еще предстоит воссоздать этнографию советской жизни во всей ее сложности и своеобразном богатстве, чтобы избежать еще одной поздней и явно облегченной самодефиниции «совка» и возможно придти к выводу о существовании пусть и не «исторически новой», но все-таки социально-культурной общности под названием «советский народ». Более того, в подтверждение этого тезиса могу высказать мнение, что эта общность продолжает существовать и себя явно демонстрировать не только среди продолжающих играть с единую телеигру КВН с участниками из постсоветских государств, но и в политическом поведении граждан новых стран по отношению к России и к русской культуре, которая мало в чем отличается от поведения бывших советских меньшинств. Украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы и многие другие, включая и прибалтов, продолжают переживать комплекс «младших братьев» и культурное тяготение к России, несмотря на жесткие установки местных элит радикально дистанцироваться от «колониальной метрополии» и найти новые политические и культурные ориентиры во внутреннем и во внешнем мире. Мое недавнее участие совместно с Элен Каррер Данкосс в дискуссии по теме «Россия и мир в 21 веке» обнаружило, что и эта известная исследовательница России признает данные реалии и, более того, того — считает, что определенная культурная и даже политическая реинтеграция на территории бывшего СССР является историческим императивом<sup>32</sup>. В целом я согласен с данной позицией, хотя к импера-

тивам в истории отношусь скептически, ибо не только интеграция и согласие, но и самые жестокие конфликты возможны среди культурно близких народов и далеко не все запрограммировано в самом процессе исторической эволюции, кроме ее неопределенности.

И здесь скрывается еще одна слабость объяснительных моделей произошедших событий на территории бывшего СССР. Она скорее вызвана традицией отечественной историографии, но с энтузиазмом разделяется и многими зарубежными историками. В позитивистско-марксистской исторической традиции считается как бы вполне естественным объяснять крупные и эпохальные явления и события проявлением глубоких исторических закономерностей, а установление этих закономерностей свидетельствует о силе и глубине исторического анализа. Историческим личностям и историческим случайностям отводится определенная роль, но не более как выразителей исторической необходимости или некой аномалии. Подобный онтологический взгляд на историю предполагает наличие и определяющую роль неких «исторических сил», которые чаще всего выступают в виде неких коллективных тел под названием «общество», «народ», «класс», партия», «движение» и т. п. Более современный и более чувствительный взгляд на исторический процесс предполагает серьезную корректировку некогда основополагающих воззрений на историю и на исторический анализ, особенно применительно к XX веку.

Речь идет не просто о признании часто определяющей роли отдельной личности, а тем более элитных групп на ход истории, а, как минимум, еще двух обстоятельств, наиболее отчетливо проявившихся в новейшей истории прожитого века. Во-первых, речь идет о все увеличивающейся роли так называемой проектной деятельности людей и социальных сообществ, когда в условиях массового образования и гораздо более плотных информационных коммуникаций идеальные (задуманные, спланированные или импровизационные) элитные проекты оказываются определяющими в крупных исторических свершениях, тем самым вызывая к жизни задуманную к реализации реальность (пусть далеко не в тех же самых образах и формах).

Меня давно интересовал один вопрос, который я, как историк и антрополог, хотел выяснить у некоторых своих коллег по россий-

скому правительству, когда входил в его состав в 1992 году. Я спрашивал Г.Н.Бурбулиса, Е.Т.Гайдара и С.М.Шахрая о том, какие проработки и документы были в их распоряжении, когда готовились и произошли действительно исторические решения в Беловежской пуще по упразднению СССР. Насколько я понял, никаких проработок данных политических решений не было. Более того, был азарт и энтузиазм Б.Н.Ельцина и других республиканских лидеров наказать М.С.Горбачева лишением его власти в московском Кремле, а если окажется возможным для Ельцина — тогда уже президента РСФСР — то и забрать сам Кремль как место государственной власти. Раскол политических элит, в том числе и по республиканско-этническому принципу, а также борьба за обладание Кремлем даже за счет упразднения самого «центра» были важнейшими мотивами действий главных игроков на политической сцене того времени. Еще раньше эту ситуацию сравнил с игрой в шахматы по собственным для каждого игрока правилам Ю.М.Батурин, помощник Ельцина, участвовавших в Новоогаревском процессе<sup>33</sup>.

Закономерно или нет, был ли другой вариант решения или нет, принят был он под влиянием алкогольной интоксикации или нет, — все эти вопросы остались для историков и самые несчастные из них — это те, кто безнадежно верит в исторические закономерности. Историю не в меньшей степени делают случайности и импровизации и даже ошибки, которые, возможно, корректнее было бы назвать стохастическими (непредвиденными) последствиями человеческой деятельности. Степень ошибок и стохастики повышается в условиях острых политических и других (например, насильственных) коллизий, когда доступная информация и время для решений ограничены. Ошибки и стохастика в исторических событиях повышаются и тогда, когда имеет место недостаток компетенции и должной процедуры выработки и принятия ответственных решений и по этой причине набор возможных вариантов действий и политических решений кажется крайне ограниченным. Все больше современных политаналитиков и историков приходят к мнению, что существовали варианты сохранения и реформирования СССР, а также большой набор других политических опций и что выбран был далеко не самый оптимальный, как это уже представляется сегодня. Но в том и смысл истории, что она развивается далеко не по самым оп-

тимальным вариантам и то, что свершилось, то свершилось, ибо история не переигрывается как шахматная партия. Историкам остаются только анализ и суждения, в том числе и морально-политического толка. Не исключаются, а даже приветствуются и глобальные обобщения. Одно из таких считаю позволительным высказать. Новая Россия возникла не в результате распада СССР, а, наоборот, СССР распался после того как возникла новая Россия, т. е. после того, как Б.Н.Ельцин и поддерживающие его политические силы фактически одолели союзный центр во главе с Горбачевым, вернее, лишили его способности и воли к сопротивлению и к отправлению власти. Сколько таких случаев знает история? Вероятно, многие сотни и на протяжении очень долгого времени.

И все же какое место занимал и какую роль сыграл этнокультурный фактор в истории Советского Союза и в его распаде? Не все же в новейшей истории страны определяли политики-неофиты с сильной волей и слабой компетенцией, а также энтузиасты радикальных проектов. И здесь мы встречаемся с исторической спецификой, которую я безусловно не отрицаю, а считаю крайне важной для понимания сути событий.

За последние десять лет в моем директорском досье собрано несколько десятков документов, которые исходят от лидеров этнических общин и организаций или от официальных органов, как, например, администрации ряда субъектов Российской Федерации и федеральные органы, как, например, Министерство по делам национальностей или Госкомстат России. Суть их заключается в просьбах дать заключение Института этнологии РАН существует или нет тот или иной «этнос» как самостоятельный народ со своей собственной историей и отличительным культурным обликом. Один из таких документов — обращение Председателя комитета по геополитике Четвертой Государственной думы — содержал требование дать официальный список «коренных» народов страны, чтобы раз и навсегда положить конец разным дебатам по этому вопросу.

В чем смысл этой потребности людей и групп состояться в истории через академическое признание? Почему если есть решение — есть и народ? Объясняется эта ситуация двумя обстоятельствами. Первое носит общий для всех политических образований характер и связано с тем, что признание коллективных культурных единиц в

том или ином государстве имеет прямое отношение к вопросам распределения ресурсов и власти, которые в нынешнем веке перестали быть исключительной собственностью монарха или просто отдельных граждан и их институтов. XX век, особенно его последние десятилетия, стали временем, когда люди задействовали для достижения своих целей и запросов понятие коллективных прав на основе этно-культурной схожести. Вызвано это было процессами развития демократических форм устройства общественной жизни, когда обнаружилось что обычная представительная демократия, основанная на правах индивида («один человек — один голос») не решает многих проблем организации жизни в сложных по культурному составу обществах. *Двадцатый век действительно стал веком концепта прав меньшинств, его частичной реализации и признания культурного многообразия.*

Но самое интересное состоит в том, что инициаторами этого признания выступили совсем не либеральные демократии с наиболее развитыми гражданскими институтами и богатыми ресурсами. Одним из бесспорных пионеров этого процесса стал Советский Союз и другие социалистические страны (прежде всего, Югославия). Нигде в мире не было страны, где бы не было вложено столько материальных и пропагандистских ресурсов для институализации и спонсирования культурного многообразия, как в СССР. Начиная с 1920-х годов, археологи, историки, этнографы, фольклористы выполнили огромный объем исследовательской работы, чтобы выработать номенклатуру народов — социалистических наций и народностей. Советское государство, несмотря на его декларируемую интернациональную, классовую природу, осуществило этнизацию политики и даже внутреннего административного устройства, что крайне редко позволяют себе современные государства (в прошлом этот фактор в политике практически отсутствовал вообще). В тоталитарных (при Сталине) и в авторитарных (после Сталина) условиях советское государство пошло настолько далеко в экспериментах с этничностью, что спустило крайне важную политическую и эмоциональную метафору нации с общегосударственного уровня на уровень этнических общностей, заменив этот важный пробел государство-строительства пропагандой общесовестного патриотизма, а

затем понятием советского народа как «новой исторической общности людей».

Как справедливо пишет американский историк Рональд Суни, «нация была реальностью и безусловным приоритетом в советском дискурсе в смысле фиксированной, исторически сформировавшейся и пространственно очерченной группы, привязанной к определенной территории. Со временем национальность стала важным условием получения преимуществ или препятствием в распределении советских ресурсов. Настолько тесно были спаяны политика и национальность в советской системе, что постсоветские игроки оказались в затруднении представить себе какие-либо другие формы осуществления политики»<sup>34</sup>. Это противоречивое наследие советской «национальной политики» (в смысле не политики обеспечения государственных интересов, а в смысле политики в отношении этнических меньшинств) тот же исследователь довольно точно назвал «реваншем прошлого»<sup>35</sup>. Смысл этой коллизии состоял в том, что советский эксперимент выпестовал периферийный этнонационализм в ущерб гражданскому национализму, исходя отчасти из искренних устремлений устранения неравенства и развития малых культур, а отчасти из пропагандистских установок, чтобы продемонстрировать преимущества социального порядка перед остальным миром (подобными же приоритетами были образование, наука и культура). Но когда пришло время демонтажа единой идеологии и жесткой политической системы, а также время ответственных смыслов что касается «национального самоопределения вплоть до отделения», тогда этот же этнонационализм стал основным и наиболее понятным средством групповой политической мобилизации для разрушения общего государства тех, кто уже давно назывался нациями и имел «свою национальную государственность». Теория и политическая риторика блестяще выполнили свое предназначение не только отражать, но и конструировать реальность.

### **Генезис нового мира**

Равно как первое тысячелетие закончилось без каких-либо приметных событий, точно также случится и с вторым тысячелетием 31 декабря 2000 года. Это всего лишь момент часового цифер-



блата, отсчитывающего историческое время по христианскому Григорианскому календарю — календарю одной из мировых религий, которую исповедует меньшинство современного человечества и которая скорее всего утратит свое доминирующее положение в многокультурном сообществе людей уже в следующем, 21 веке. И все же символическая значимость этой даты огромна прежде всего как интеллектуальный повод для глобальных размышлений об исторической эволюции человечества, включая перспективу будущего.

Некоторые интеллектуалы-глобалисты, как, например, Мануэль Кастелс, в своей книге «Конец тысячелетия», обосновывают положение о становлении в конце второго тысячелетия принципиально нового мира. «Начало этому было положено в конце 1960 — середине 1970-х годов историческим совпадением трех независимых друг от друга процессов: информационной технологической революцией, экономическим кризисом как капитализма, так и государства и их последующими структурными изменениями, расцветом таких культурных социальных движений, как освободительные, правозащитные, феминистские и инвайронменталистские. Взаимодействие этих процессов и запущенные ими реакции породили новую доминирующую социальную структуру — «общество неформальных сетей» (network society), новую экономику — информационно-глобальную экономику, и новую культуру — культуру реальной виртуальности»<sup>36</sup>. Нижеследующий анализ представляет собою дискуссию с данными положениями о становлении нового мира. Именно нового мира, а не нового миропорядка как категории более ограниченной и скорее чисто политической.

Итак, Кастелс предлагает по сути историко-антропологическую категорию «нового» среди казалось бы всеобщего распространенного бытового мнения, что «нет ничего нового под солнцем». Что составляет это «новое» в отличие от обычной категории исторических «перемен», к которой привыкло гуманитарное знание и которая даже имеет свою философско-антропологическую и историографическую проработку<sup>37</sup>? Тот длинный перечень «нового», т.е. принципиально отличных от предшествовавших форм социальной жизни и необязательно обусловленных предшествовавшей исторической эволюцией явлений, который приводится многими авторами, представляется достаточно хорошо знакомым. Это — чипы и ком-

пьютеры, мобильная телекоммуникация, геновая инженерия, глобальные финансовые рынки в реальном времени, планетарный характер капиталистической экономики, сосредоточение большинства рабочей силы в производстве знания и информации в развитых обществах, вызов патриархализму (доминированию мужчин), уход с исторической арены коммунизма и конец холодной войны, появление стран Азиатско-Тихоокеанского региона как равных экономических партнеров, всеобщая озабоченность окружающей средой, общество неформальных «сетей» без привычных пространственно-временных параметров.

Безусловно, вышеназванные разнопорядковые явления представляют собою крупнейшие трансформации последней трети XX века. Однако насколько они порождают принципиально новый человеческий мир и насколько широко распространяются границы этого мира в пространстве Земли?

Компьютерно-информационные технологии не только обрели всеобщий характер, в том числе и в России в последнее десятилетие, но они действительно изменили материальную основу человеческих сообществ, причем не только так называемого индустриального мира. Под их влиянием произошло изменение культурной основы накопления богатства и контроля над ресурсами жизнеобеспечения, характера отправления власти и самого поля власти (не только авторитет, деньги и госправо, но и власть информационного воздействия). Под их влиянием изменился характер производства культурных форм (или кодов), когда способность к данному производству определяется доступностью обществ и индивидов к информационным технологиям. От данных технологий радикально зависят процессы социально-экономических адаптаций и преобразований. Именно эти технологии определили появление таких динамичных и саморазвивающихся форм человеческой деятельности, как сетевые коалиции людей, включая так называемые неправительственные организации или профессиональные объединения, вплоть до мировых сетей соискателей брачных партнеров и любителей анекдотов.

Компьютерно-информационные технологии оказали сильное влияние даже на такие первичные формы социальной организации людей, как семья и родственные коалиции. Физическое пространство не стало уже столь определяющим фактором существования се-

мы или ее распада, если можно поддерживать более постоянную и более регулярную связь ее членов, когда они находятся вне дома и даже в других регионах мира. Многие современные люди общаются с самыми близкими более интенсивно, чем если бы они пребывали постоянно у «домашнего очага». Меняется даже представление о «доме» как месте проживания семьи и как об обязательном элементе этого важнейшего социального института. «Дом» сегодня может означать сразу несколько географических локаций, причем, необязательно по наиболее распространенной форме «городская квартира — загородный дом». Но и даже в этой форме, в той же России в последнее десятилетие появилось несколько десятков миллионов (в добавление к уже существовавшим) подобных вариантов семейного проживания хотя бы на летний период. Телефон, прежде всего сотовый, обеспечивает постоянную, в том числе и эмоциональную связь членов семьи.

Однако насколько широко в мире распространились эти нововведения и насколько они преобразовали семейно-бытовую сферу жизни людей? Если анализировать основы семейной жизни в России (далеко не самой бедной страны в мире), то эти преобразования носят самый поверхностный характер. Те три уровня нашего этнографического наблюдения (мещерская деревня, малый уральский город и московский мегаполис) говорят о том, что информационно-компьютерные технологии никак не затронули деревенскую жизнь, они почти не пришли в малый город и стали частью жизни меньшинства москвичей. Семья как социальный институт почти осталась неизменной в своих базовых формах на протяжении всего XX века и нет оснований предсказывать ей радикальные изменения в следующем веке. Едва ли произошло что-то радикально отличное в английских, итальянских, испанских, кубинских, хорватских, норвежских, индийских семьях, которые я наблюдал в последние два-три десятилетия. Некоторое исключение могут составлять американские семьи, и, возможно, японские, но этого недостаточно, чтобы говорить о глобальной мировой тенденции. Вполне возможно, что *традиционализм адаптирует новые технологии более успешно, чем новые технологии меняют саму традицию и социальную организацию человеческого общества*. Есть только очарование нововведениями, желание овладеть ими, но не для того, чтобы изменить нормы жиз-

ни, а сделать жизнь «легче». Но это никак не вписывается в категорию принципиально «нового мира». Частые семейные разговоры по сотовому телефону я наблюдал в ноябре 1999 года в купе итальянского поезда, как если бы это был разговор тех же домочадцев на семейной кухне. Форма была новая, а смысл происходящего — старым.

Что касается мирового рынка капитала, взаимозависимой экономики, новых форм трудового соперничества и организации труда, то здесь есть также глубокие перемены (именно — перемены!), но что есть «новое»? Новые производящие сети действительно соединили капитал, труд, информацию и рынок через современные технологии, внедрили новые трудовые функции работающего человека и вовлекли в эти связи огромные регионы мира, включая обширные сибирские просторы или дальние океанические государства. Организованные трудовые коалиции непосредственных производителей и их политическое выражение фактически исчезли, даже в России от некогда всепроникающих профсоюзов осталась только политтусовка в штабквартире на Ленинском проспекте в Москве и разрозненные местные активисты, способные (если благоволят власти) организовать перекрытие железных дорог или постучать касками перед зданием национального правительства. Но вместе с этим вернулось и что-то совсем «старое» как реакция на радикальные перемены.

Новый «реструктурированный» капитализм и глобальный рынок оказались не столь глобальными в социальном и географическом пространстве. Целые группы населения, территории стран и даже страны были выключены из новых экономических сетей и сопровождающих их ценностей и вознаграждений. Целые города, поселки и даже регионы, не говоря о группах населения составили некий «четвертый мир» (кроме известных капиталистического, бывшего социалистического и отсталого, называемого по инерции «развивающегося» мира) — мир маргинальности и отчаянной надежды подключиться к новому процветанию. Ответом этого «четвертого мира» стало рождение криминальной или «серой» экономики, которая не признает новых сложных и жестких правил игры и предлагает свои собственные тоже порою жесткие и даже жестокие правила, по которым выстраиваются свои глобальные сети мировой криминальной экономики. По большому счету никто этот новый мир не

изучал, а в нем заключен свой культурный смысл — это желание уйти от маргинальной бедности и взять нас себя культурную роль удовлетворения запрещенных желаний в благополучном мире (наркотики, порнобизнес, торговля оружием, грязные деньги, кража ресурсов).

<sup>1</sup> Р.С.Хакимов. Сумерки империи. К вопросу о нации и государстве. Казань, 1993, с. 20.

<sup>2</sup> Р.С.Хакимов. История татар и Татарстана. Казань, 1999, с. 2-3.

<sup>3</sup> Friedman J.. The Past in the Future: History and the Politics of Identity. American Anthropologist, 1992, Vol. 94, No. 4, p. 837.

<sup>4</sup> Hindess B. and P. Hirst. Pre-Capitalist Modes of Production. L.: Routledge, 1975, p. 312.

<sup>5</sup> Sahlins M. Islands of History. Chicago: Chicago University Press, 1985, p. 155.

<sup>6</sup> Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.-Y.: Random House, 1987, p. 540.

<sup>7</sup> В.А.Тишков. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997; Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union. The Mind Aflame. L.: Sage, 1997.

<sup>8</sup> Bourdieu P. In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990, p. 9.

<sup>9</sup> Ibid., p. 11.

<sup>10</sup> См.: Bennigsen A. & S.Enders Wimbush. Mystics and Commissars, Sufism in the Soviet Union. L.: Hurst, 1985; Bennigsen Broxup M., ed. The North Caucasus Barrier: The Russian Advance Towards the Muslim World. L.: Hurst, 1992; А. Авторханов. Империя Кремля. М., 1990.

<sup>11</sup> Книги Авторханова были известны ранее, но переведены на русский язык в начальный период «перестройки» как одна из акций стирания «белых пятен» в истории. См.: А. Авторханов. Убийство чечено-ингушского народа. М., 1991.

<sup>12</sup> Hobsbawm E. Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. L.: Michael Joseph, 1994, p. 585.

<sup>13</sup> Castells M. The Power of Identity. Oxford, 1997, p. 2.

<sup>14</sup> Ни., іаідеіаџ: Оџаііаџ іеџа. Ніџеаџуіа іііеааіаџеу аџааџеџаџе іеџіаіуџ іџіџаііа. Аіџеаа іаџ-іі-џііеаіаіаџаџеуіџіаі џііџеџџџа ніџеаџуіаі џаџаџеу іџе ііі. іаџ. іі аіаџ. М., 1997.

<sup>15</sup> Об этом см.: Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 года. Пер. с англ. СПб., 1998; Э. Геллнер. Нации и национализм. М., 1991.

<sup>16</sup> Критику понятия нации см.: В.А.Тишков. Забыть о нации (пост-националистическое понимание национализма) // Этнографическое обозрение, 1998, № 5.

<sup>17</sup> См.: В.Г.Стельмах, В.А.Тишков, С.В.Чешко. Тропую слез и надежд. Книга о современных индейцах США и Канады. М., 1990.

- <sup>18</sup> Trudeau P.E. *Conversations With Canadians*. Ottawa, 1970.
- <sup>19</sup> *The State of War and Peace. Atlas*. D. Smith with K. Ingstad Sandberg and P. Baev and W. Hauge. L.: Penguin, 1997, p. 13.
- <sup>20</sup> См.: Galtung J. *Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization*. L.: Sage, 1996.
- <sup>21</sup> Burton J. *Resolving Deep-Rooted Conflict. A Handbook*. Lanham, MD: University Press of America, 1987.
- <sup>22</sup> Gurr T. R. *Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1993.
- <sup>23</sup> Easty D., J. Goldstone, T. R. Gurr, B. Harff, M. Levy, G. Dabelko, P. Surko & A. Unger. *State Failure Task Force*, 1998.
- <sup>24</sup> V.A. Tishkov. *Ethnic Conflicts in the Former USSR: The Use and Misuse of Typologies and Data*. *Journal of Peace Research*, Vol. 36, No. 5, 1999, pp. 571-591.
- <sup>25</sup> Частная беседа с Н.Н.Афанасьевским, Париж, 8 марта 2000.
- <sup>26</sup> В отечественной литературе подобную позицию последовательно занимала покойная Г.В.Старовойтова и сторонники такой точки зрения довольно многочисленны.
- <sup>27</sup> Из наиболее глубоких интерпретаций подобного характера см.: Malia M.. *The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991*. N.-Y.: Free Press, 1995, p. 575.
- <sup>28</sup> См., например, специальный номер журнала *Pro et Contra*, посвященный истории российских реформ (Том 4, № 3, 1999).
- <sup>29</sup> С.В.Чешко. *Распад Советского Союза*. 2-е изд. М., 1999.
- <sup>30</sup> Carrere d'Encausse H.. *L'empire éclaté*. Paris: Flammarion, 1978.
- <sup>31</sup> Hann C.M. *Socialism: Ideals, ideologies, and local practice*. L.: Routledge, 1993, p. 12.
- <sup>32</sup> Частная беседа с Элен Каррер Данкосс, Париж, 8 марта 2000 г.
- <sup>33</sup> См.: *Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М.С.Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства*. М., 1995. С. 172-186.
- <sup>34</sup> Suny R. G. *Southern Tears: Dangerous Opportunities in the Caucasus and Central Asia*, p. 153. In: R. Menon, Y. E. Fedorov, and G. Nodia, eds. *Russia, The Caucasus, and Central Asia. The 21st Century Security Environment*. Armonk, N.-Y.: M. E. Sharpe, 1999, pp. 147-176.
- <sup>35</sup> Suny R. G. *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*. Stanford: Stanford University Press, 1993.
- <sup>36</sup> Castells M.. *End of Millenium. The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. 3. L.: Blackwell, 1998, p. 336.
- <sup>37</sup> *Ńi., iăiđ.*: Eisenstadt S.N. *Tradition, change and modernity*. N.-Y., 1973.